

Человек эпохи Возрождения

Кирпич

Сероглазый, подтянутый, доброжелательный, он просит меня рассказать о себе.

Что рассказывать? Не пью, не курю. Имею права категории «В».

От личного помощника, говорит, ожидается сообразительность.

— Позвольте задать вам задачку.

Хозяин барин. Хотя, что я — маленький, задачки решать?

— Кирпич весит два килограмма плюс полкирпича. Сколько весит кирпич? Условие понятно?

Чего понимать-то?

— Четыре кг.

До меня ни один не ответил. Так ведь я по второй специальности строитель.

— А по первой?

А по первой пенсионер. В нашей службе рано выходят на пенсию.

Виктор, вроде как младший хозяин, я покамест не разобрался:

— Пенсия маленькая?

Побольше, чем у некоторых, а не хватает. Старший ставит все на свои места:

— Анатолий Михайлович, вы не должны объяснять, для чего вам деньги.

Я, вообще-то, Анатолий Максимович, но спасибо и на том. В итоге он один меня тут — по имени-отчеству, а Виктор и обслуга вся, те Кирпичом зовут. Ладно, потерпим. Главное, взяли.

Высоко тут, тихо. Контора располагается на шестнадцатом. Весь этаж — наш. А на семнадцатом сам живет. Выше него никого нет. Кабинет, спальня, столовая, зала и этот — *жим, джим*.

— Лучше шефа сейчас никто деньги не понимает. — Слышал от Виктора. — Мне, — говорит, — до него далеко пока.

Виктор — небольшого росточка, четкий такой, мускулистый. Я сам был в молодости, как он. Заходит практически ежедневно, но не сидит. На земле работает, так говорят, — удобряет почву. Проблемы решает. Какие — не знаю. Мои проблемы — чтоб кофе было в кофейной машине, лампочки чтоб горели, записать, кто когда зашел-вышел. Хозяин порядок ценит — ничего снаружи, никаких бумажек, никакой грязи, запахов. Порядок, и в людях — порядочность.

— Наша контора, — говорит Виктор, — одна большая семья. Кто этого не понимает, будет уволен. Так-то, брат Кирпич.

Два раза мне повторять не надо.

Я — сколько здесь? — с августа месяца. Большая зала, переговорные по сторонам, кухонька, лестница на семнадцатый. Тихо тут, как в гробу. Мировой финансовый кризис.

Сижу в основном, жду. Чего-чего, а ждать мы умеем. Смотреть, слушать, ждать.

У богатых, как говорится, свои причуды: шеф вон — на пианино играет. Все правильно, в Америке и в семьдесят учатся, только мы не привыкли. Завезли пианино большое, пришлось стены переставлять. Надо так надо. Я ж говорю, у богатых свои причуды.

Ходят к нам — Евгений Львович, хороший человек, и Рафаэль, армянин один, музыку преподает. Виктор называет их «интели». Интеллигенция, значит. Только если Евгений Львович, чувствуется, действительно человек культурный, то Рафаэль, извините, нет. Вот он выходит из туалета, ручками розовыми помахивает и — к Евгению Львовичу. На меня — ноль внимания, будто нет меня.

— В клозете не были? Сильное впечатление. — Разве станет культурный человек о таких вещах? Тем более с первым встречным. — А вы, позвольте спросить, с патроном чем занимаетесь?

— Я историк... Историей. — Евгений Львович оглядывается, будто провинился чем. Вид у него — не сказать чтоб здоровый, очки прихвачены пластырем. И каждый раз так — задумается и говорит: «Все это очень печально».

А хозяина стали они звать патроном. Патрон да патрон.

— Давно, Евгений Львович, с ним познакомились?

Чего пристал к человеку? Ты сам с Евгением Львовичем познакомился только что. Урок кончился — и топай давай.

— В конце октября. На Лубянке, у камня. Знаете Соловецкий камень?

— Ага, — говорит Рафаэль. — А что он там делал?

Ох, какие мы любопытные, всюду-то мы норовим нос свой просунуть! Не нравится мне Рафаэль. Хотя я нормально, в общем-то, ко всем отношусь. Кто у нас не служил только.

— Шел мимо, толпа, подошел... — отвечает Евгений Львович.

Потом патрон домой его повез, в Бутово. О, думаю, Бутово. Мы соседи, значит.

— Никогда прежде не ездил с таким комфортом.

И чего ты, думаю, расстраиваешься? Все когда-нибудь в первый раз.

— Беседовали, представьте себе, — говорит, — о патриотизме.

У Рафаэля сразу скучное лицо.

— Но разговор получился славный, я кое-что себе уяснил. Знаете, когда имеешь дело только с людьми из своей среды... Многое как бы само собой разумеется...

Да чего ты перед ним извиняешься? — думаю.

Евгений Львович про женщину рассказывает про одну:

— Представьте себе, муж расстрелян. Обе дочери умерли. В тюрьме рождает мертвого ребенка. И такой несгибаемый, непрошибаемый патриотизм. Что это, по-вашему?

Рафаэль плечом дергает:

— Страх. Не знаю. Коллективное помешательство.

— Вот и наш с вами, как вы его назвали? — патрон — высказался в том же духе. А по мне — нет, не страх. Книгу Иова помните?

Рафаэль кивает. Как они помнят! Все у них, главное, какое-то свое.

— Перед Иовом ставится вопрос: «да» или «нет»? Говорит он миру, творению «да» или, как жена советует...

— «Похули Бога и умри».

— Вот-вот. Именно. А ведь Советский Союз для тех, кто тогда в нем жил, и представлял собою — весь мир. Так что...

— Это натяжка, Евгений Львович. Многие помнили еще Европу.

— Кто-то помнил. Как помнят детство. Но оно прошло. И осталось — вот то, что осталось. Советский Союз и был — настоящее, всё. Теперь у нас есть — граница. А тогда: либо — «да», либо — «нет», «похули и умри».

Рафаэль голову склонил набок:

— Что-то есть в этом. Можно эссе написать.

Евгений Львович уже не таким виноватым выглядит.

— Какой у вас, Рафаэль, практический ум!

— Был бы практический... — Рафаэль глазами обводит контору. — Десять лет на коробках. И какой же историей вы занимаетесь? Советской? ВКП(б)?

Патрон ее в институте должен был проходить. Ему ведь — сколько? Лет сорок?

— Нет, — улыбается Львович. Смотри-ка ты, улыбнулся! — Нам пришлось начать сильно издалека. Мы занимаемся, скажем так, священной историей. *В начале сотворил Бог небо и землю.*

Чего он так голос-то снизил?

— Да-а... — Рафаэль поводит головой влево-вправо, а в глазах — смешочек стоит. — А ведь это замечательно, разве нет? Дает, так сказать, шанс. Ведь ученик-то наш! С вами историей, от Ромула до наших дней, со мной — музыкой! И тут же — спорт, наверняка какой-нибудь нетривиальный, финансы... В которых мы с вами, я во всяком случае, ни уха ни рыла, но зато весьма, прямо скажем, нуждаемся! — Не поймешь Рафаэля, серьезно он или издевается? — Где финансы, там математика. Что-то он мне сегодня про хроматическую гамму втолковывал, про корень какой-то там степени... Широта, размах! Просто — человек эпохи Возрождения!

Львович бормочет: да, мол, в некотором роде...

— Знаете, — говорит вдруг, — что он после той, первой встречи нашей сказал? На прощание. «Наш разговор произвел на меня благоприятное впечатление». Вот так.

Опять Рафаэль принимается хохотать, а потом вдруг дико так смотрит:

— Позвольте, Евгений Львович, он что же, Ветхого Завета совсем не читал?

— Ни Ветхого, ни, скажу вам...

— Подождите, послушайте, ведь они все теперь поголовно в церковь ходят! Их же там, я не знаю, исповедуют, причащают!

Львович как-то сдулся весь. Лишнего наболтал. Понимаю. Так ведь это ж не он, а Рафаэль этот все.

— Не знаю, не знаю... Да, причащают... — Очки снял, трет. — Как детей маленьких. — И тихо совсем сказал, но я расслышал: — Не знаю, как вы, Рафаэль, но я работой здесь дорожу. Во всех отношениях. — Вздохнул потом: — Все это очень печально.

А тут и звонок. Рафаэль вскакивает:

— Ваш выход. Был рад познакомиться. Вы тоже — понедельник-четверг? Продолжим как-нибудь у меня? Если только, — подмигивает, наглый черт, — разговор произвел на вас благоприятное впечатление. Мы близко тут, на Кутузовском. Жена, правда, ремонт затеяла...

Во как, оказывается. На Кутузовском. Красиво жить не запретишь. Ясно, зачем тебе частные уроки. Или врешь — нет квартиры у тебя на Кутузовском?

Рафаэль, тот раньше приходит, а Львович — после обеда. У нас нету обеда, но так говорится. Где-то, короче, в три.

А про Кутузовский — не соврал Рафаэль. Я пробил по базе. Семь человек прописано: его сестра, жены сестра, дети... Вот у Евгения Львовича — ни жены, ни детей. Он и мать. Мать двадцать четвертого года, он пятьдесят седьмого.

Сегодня Рафаэля очередь представляться, похоже.

— А меня он, вообразите-ка, сам нашел. — И краснеет от удовольствия. Наполовину седой уже, а краснеет, как мальчик. — Изумительная история, всем рассказываю. Патрон любит окрестности обсматривать в бинокль. В свободное от построения капитализма время. И вот он видит, а, проходя мимо, и слышит, что дня изо дня, из года в год какие-то люди, молодые и уже не очень, с утра до ночи занимаются на инструментах. Девочки и мальчики таскают футляры больше их самих. Потом наш патрон узнает, сколько зарабатывает профессор консерватории, каковы вознаграждения за филармонические концерты, сколько *своих* средств расходуют музыканты, чтобы сделать запись. И обнаруживает, что у всей этой деятельности почти отсутствует финансовая составляющая, понимаете? Как у человека с живым умом, но привыкшего оперировать экономическими категориями, у него просыпается интерес. И вот он приглашает меня... Дело в том, что весной вышла в свет, — опять он краснеет, — «Новая музыкальная энциклопедия», созданная, э-э... вашим покорным слугой...

Короче, патрон пришел в магазин, где книжки, узнать, кто в музыке разбирается. Ему и дали этого, Рафаэля.

— Найти меня было несложно. Я читаю студентам историю музыки и... — совсем красный стал, — заглядываю иногда узнать, как продается энциклопедия.

— Удивительно, — говорит Евгений Львович. — Вы тоже — с Ромула до наших дней?

— «Ходит зайка серенький...» — пока что так. «Андрей-воробей, не гоняй голубей». Слушаем много. Сегодня вот — венских классиков...

Историк кивает:

— Моцарт, Гайдн, Бетховен. МГБ. Общество венских классиков. Мы так в молодости эту организацию называли.

Евгений Львович, когда и смеется, то ртом одним. Глаза остаются грустные. Зато Рафаэль хохочет, трясет кудрями. Цирк. Потом на меня вдруг смотрит. Чего он так смотрит, ненормальный он, что ли? Давай, рожай уже что-нибудь. Головой, наконец, повел:

— Знаете, а мы ведь участвуем в грандиозном эксперименте. Не знаю, как вы, а я уже даже не из-за... Интересно, что у нас выйдет. Представляете, патрон наш басовый ключ отменить предлагает. Я про альтовый даже упоминать боюсь! И все-таки на таких, как он, — пальцем вверх тычет, — вся надежда. Мы-то с вами, Евгений Львович, уходящая натура, согласны? Он про кирпич вас не спрашивал? Нет? Спросит еще. Ладно, бежать пора.

Я к Рафаэлю уже привыкать стал. Зря он только, что деньги, там, не нужны... Как деньги могут быть не нужны?

Ушел он. Говорю Евгению Львовичу:

— Кирпич весит четыре килограмма.

— Вы о чем это? — спрашивает.

Скоро, думаю, узнаете, о чем, Евгений Львович.

— Кофе, — спрашиваю, — желаете?

Смотрит на меня так жалобно.

— Да, — говорит, — спасибо, не откажусь.

Вот и хорошо. Хоть спрошу.

— Мне книжку тут, — говорю, — соседка дала. Дневники Николая Второго. Он как будто сейчас заплачет.

— Не советую, — говорит, — читать. Расстройство одно. Ездил на велосипеде, убил двух ворон, убил кошку, обедня, молебен, ордена роздал офицерам, завтракал, погулял. Обедал, мамá, потом опять двух ворон убил...

— Вороны, — говорю, — помочные птицы. Нечего их жалеть.

— Все равно, — говорит, — дворянину, да просто нормальному человеку не пристало ворон стрелять. Особенно в такой исторический момент.

Ладно. Там, наверху только, Евгений Львович, про ворон не надо. Смотрит на меня долго. Да чего с ним? Не может быть, чтоб нормальный человек из-за ворон расстраивался. Видно, Рафаэль его наш достал.

— Не переживайте вы, — говорю. — Он же нерусский. Он же... — слово еще есть — эмигрант.

Евгений Львович к окну подошел, чашку на подоконник поставил, в принципе — нехорошо, пятно останется. Ничего, вытру потом.

— При чем тут, — говорит, — эмигрант — не эмигрант. Мы все, если хотите знать, эмигранты. И я, и вы, и даже патрон ваш. Все, кому тридцать и больше. Иная страна, иные люди. Да и язык. Вот этот ваш, помоложе, как его? Виктор. Вот он — здешний, свой. Крестный ход, вернее, облет Золотого кольца на вертолетах. С губернаторами, хоругвями и всем, что полагается. Я снимки, — говорит, — в газете видел. А мы все... Уезжать надо из этого города куда-нибудь далеко, в глубинку. Там все-таки в меньшей степени наша чуждость заметна.

Ничего я не понял. Чувствую, что-то не то сказал. Хотя я ж ничего плохого не имел в виду. Чего он так? А это бывает, что и не определишь. Может, допустим, мать его помирает. У меня когда мать померла, я вообще никакой был.

Так и живем. Я и к Рафаэлю привык, и с Евгением Львовичем иной раз переговорить получается. Уроков, наверное, десять патрон у них взял. А в последний раз, верней, в предпоследний, у нас не очень хороший разговор, к сожалению, вышел.

Началось вроде, как всегда. Спускается Рафаэль от патрона, потягивается, будто кот. Прижился. Улыбается Евгению Львовичу:

— Ох, и хороший же здесь рояль! Да только, между нами говоря, не в коня корм. Ничего-то у нас на нем не выходит.

А ты бы учил, думаю, лучше.

— Непродуктивные, — говорит, — какие-то у нас занятия. Не знаю, как с вами, Женя, — они без отчеств теперь, — а со мною так. Бросил бы, чувствую, это дело, если б не, сами понимаете...

— Не горячитесь, — отвечает Евгений Львович. — Сложное это дело, на рояле играть. Я вот тоже не научился, а ведь мама у меня — педагог училища. Очень, кстати, благодарила вас за энциклопедию. И было мне вовсе не сорок лет, когда она пыталась меня учить.

— Возраст, конечно, да, тоже... — говорит Рафаэль. — Да только тут дело не в возрасте. Вот мы сегодня слушали... — и фамилию длинную какую-то называет. — Хотите знать, что он о ней сказал? «Такое не может нравиться!»

— Сумбур вместо музыки, — кивает Евгений Львович. — Я, честно сказать, ее творчество тоже пока для себя не открыл.

— Сумбур, сумбур... — повторяет Рафаэль. Чем это он так доволен?

Они еще поговорили немного про всякую музыку, и тут Рафаэль заявляет:

— Знаете, к какому выводу я прихожу? Патрон — человек как бы сверхполноценный, да? Но высший доступный ему вид эстетического наслаждения — увы, порядок.

Да, мы поддерживаем порядок. Чего здесь плохого? А этот никак все не успокоится:

— Все ровное, чистое, полированное, немислимой белизны сортир. Женщины мои о таком, должно быть, мечтают. — На часы глядит. — Опять я опаздываю. Между прочим, говоря о порядке, — мне кажется, это свинство — заставлять вас ждать.

— Я не спешу, Рафаэль.

Борзее армяшка, думаю. Иди давай. Тебя ж вовремя приняли. Всё, будем учить. Что-то я, правда, размяк.

— Молодой человек, — говорю.

— Я вам не молодой человек! Я профессор Московской консерватории!

Смотри, какие мы бываем сердитые! Глаза вытаращил. Первый раз внимание на меня обратил. Я для него — вроде мебели. Ничего, профессор, обламывали не таких. Корректно говорю:

— Евгения Львовича пригласят, как только закончится видеоконференция. — И добавил для вескости: — С председателем Мостурбанка.

Я не то сказал? Смотрю, даже Евгений Львович отвернулся в сторону. А этот зашелся прямо от хохота:

— Мастурбанка! — и ручонками себя по коленям. — Женя, слышали? Мастурбанка!

Львович, мне:

— Нет, — говорит, — быть не может. Это юмор такой.

Да хрен его знает! Пошли вы оба! Но, вообще, действительно, что-то странное. Полчетвертого. Кофе им приготовил. Рафаэль тоже стал кофе пить. Вроде как — помирились. Черт их поймет. Ты ж опаздывал! Сел на подоконник, ногами болтает, профессор.

— Глядите, — говорит вдруг, — что это? Секунду назад вон с той крыши ворона свалилась. И еще одна. Видите? И еще — глядите — взлетела и — раз! — вниз.

Евгений Львович не в окно, на меня смотрит.

— Смотрите, смотрите! — Рафаэль, как маленький. — Хромает, вон — прыгает, как ненормальная к краю — и тоже — бац! Что такое? Вроде не холодно. Может, инфекция? Есть же, кажется, инфекция птичья. Птичий грипп, а? — Окно открыть хочет. Неумелые ручки. Оставь ты в покое окно.

Звонок сверху. На сегодня занятия отменяются. Потерянное время, Евгений Львович, будет вам полностью компенсировано. Нет, он не возьмет трубку сам.

Черт-те что. Кажется, даже армяшка, который кроме себя никого не видит, стал до чего-то догадываться:

— Но, — говорит, — он ведь все-таки — фигура яркая?

— Да, — отзывается Евгений Львович. — Человек эпохи Возрождения. — Помолчал и потом — любимое: — Все это очень печально.

Лора

Женщины возникали в его жизни, как мишени в тире, и сразу занимали все внимание — ненадолго, но целиком. Добившись успеха, понятно какого, он некоторое время еще длил отношения, а потом разрывал. Так все и шло,

как должно было идти — он в книжке одной американской прочел, что любовь — это *power game*, игра *кто кого*, — английский он знал достаточно, чтобы читать книги по психологии — как добиться успеха, как управлять людьми, — когда начинал свое дело, эти книги очень емугодились, теперь их на русский перевели. Становясь воспоминанием, подруги его оказывались симпатичнее, чем были в действительности: самое ценное в них — изгибы, поверхности, линии — и, конечно, преодоление первого сопротивления, взаимного страха — это запоминалось, а привносимый женщинами беспорядок со временем уходил.

С Лорой, однако, получилось не так, как с другими, — и вместо того чтоб признать, что эту игру он — да, проиграл, и двигаться дальше, либо, напротив, решить, что модель *кто кого* не универсальна и дала в случае с Лорой сбой, и опять-таки двигаться дальше — зарабатывать деньги, заниматься саморазвитием, знакомиться с новыми женщинами, наконец, — вместо этого всего он сидит у раскрытого окна и стреляет ворон.

Не холодно, хотя декабрь, на градуснике плюс пять, винтовка, оптический прицел — он сидит на подоконнике и сшибает с соседней крыши грязно-черных птиц, одну за другой. Стрелять ворон не так просто, как кажется: надо не только попасть, но не вызвать шума, не говоря уж о том, чтоб причинить кому-нибудь вред. Здесь высоко, кусок тихой улицы, ведущей к Большой Никитской, и вдалеке — тротуар перед консерваторией, краешек памятника Чайковскому. Хорошая у него винтовочка, тихая. От стрельбы становится не то чтобы хорошо, но получше.

Сорок минут назад ушел Рафаэль — они опять больше слушали музыку, чем играли, — заниматься в последние две недели не было ни времени, ни желания — сначала Рафаэль, напевая, покачиваясь, сыграл что-то старое, довольно красивое, в общем — куда ни шло, но потом — он сам просил познакомиться его с современными авторами, они поставили записи — и у него возникло убеждение, что ему просто морочат голову. Два с половиной месяца — столько он занимается музыкой — конечно, не очень большой срок, но кое-какой опыт уже у него имеется — он слышал и венских классиков, и Шостаковича, и знал, например, что Штраусов было два, и что любить Иоганна Штрауса — дурной тон, а на Чайковского можно смотреть и так, и эдак, тут каждый решает сам. Еще он узнал, — Рафаэль любит сплетничать, — что Пуленк — гомосексуалист, а Шостакович — не еврей, и что три четверти — трехдольный размер, а шесть восьмых вопреки очевидности — двух-. Но то, что он слышал сегодня, — как фамилия этой женщины? — такое — нравится, доставляет наслаждение, радость, а зачем еще существует искусство? — нет, не может.

Не лучше обстоит дело и со священной историей, с самой популярной в мире книгой, этим сгустком человеческой мудрости. Масса немотивированного насилия — и кто-то будет его осуждать за ворон? — брат убивает брата, отцу велено резать сына, без объяснений — пойдя и убей, истребляются народы — что плохого они сделали? Сеул — Евгений Львович его поправляет — Саул — да, за что он наказан? За гуманное отношение к пленным? Человечество все же очень продвинулось по сравнению с древностью. *Я никого не угнетаю*. А, простите, потоп? Нет, он вежливый человек, он не станет никому ничего высказывать, он даже собирается изучить все до конца и самым внимательным образом, хоть и трудно, конечно, читать огромную, перегруженную подробностями книгу, в которой напрочь нет юмора. Он так пожаловался в прошлый раз, и Евгений Львович обещал сегодня кое-что рассказать, но, видно, не судьба, да и что этот милый печальный человек, сильно, видимо, выпивающий, понимает в юморе? Сегодня в любом случае не до юмора, сегодня звонила Лора.

А вороны, чтоб уж покончить с воронами, — это злые, грязные, помоечные птицы, разносчики инфекций. Они нападают на детей, клюют их в головы. Возле консерватории живет ворона, которая курит. Выхватывает у людей изо рта горящие сигареты и курит. Это не рассказы — он сам ее видел, в день, когда познакомился с Лорой. Их и свела — ворона.

Он помнит: теплый вечер субботы, вот он выходит из кафе, — группа хохочущих ребят у памятника, ребята смотрят на ворону, в клюве у той сигарета, он идет в сторону, как он узнал потом — Рахманиновского зала, проследить путь вороны, но внимание его отвлечено худой девицей с длинными ногами и волосами. Девица брюнетка. Брюнетки, считается, в его вкусе.

— Музыку послушать не хотите, молодой человек? — спрашивает девица, она стоит у стеклянных дверей — ноги крест-накрест — курит.

Только если она составит ему компанию. Только в этом случае. Что... дают, исполняют, как правильно? Не признаваться же, что раньше не был в консерватории. — Девица кивает на афишу. Крупно: ФРАНСИС ПУЛЕНК, «Человеческий голос». И еще крупней: ЛОРА ШЕР, сопрано. — Так она составит ему компанию? — Девица довольно откровенно его оглядывает.

— Естественно. — Бросает окурочек, идет вперед.

Курточку надо сдать в гардероб. Девица уходит по мраморной лестнице вверх. Он успевает разглядеть ее со спины. Ничего. Через минуту и он уже в зале. Где его спутница? Ее не видно, хотя людей мало и сидят они редко. На сцене — молодая миловидная женщина в красном платье, рыжая, с очень белой кожей. Это Лора.

Красное платье, черная телефонная трубка с длинным проводом. *Алло, алло, мадам...* «Лирическая трагедия — прочтет он в энциклопедии Рафаэля, — произведение высокого гуманизма и драматической силы». Произведение написано для сопрано с оркестром, здесь исполняется под рояль. *О, Боже, пусть он позвонит мне!..* Помимо пения присутствуют элементы театра: Лора довольно ловко передвигается по сцене, задействует стул, подставку для нот — пульт. Провод оборачивает вокруг шеи. *Алло, дорогой, это ты? Ты так добр, что снова позвонил?* Стул черный, пульт красный, белая Лора с рыжими волосами. Он впечатлен, очень.

Прости мне эту слабость! Лора обращается то к пианисту, то к телефонной трубке, но более всего — в зал. Рассказывает, как отравилась. — *Ну что ж, я знаю, что смешна!* — умоляет не ночевать в том отеле, где они обычно останавливались, когда посещали Марсель.

Люблю, люблю, люблю! Последнее «люблю» Лора почти шепчет, смотрит прямо на него. Или показалось?

Он быстро идет домой, берет первую попавшуюся вазу, с тряпочкой, на которой та стоит, потом — в цветочный на углу:

— Белых, красных! Следите только, чтоб нечетное число!

Где он может найти исполнительницу? — В артистической. Туда, до конца и наверх. Он не знает, как у них — у артистов, у музыкантов — принято. Вероятно, как и в любом деле: если тебе что-то надо, походи и возьми. Раньше всех.

С цветами он, кажется, перестарался. Лора, одетая уже обычным образом — свитер, джинсы, — более удивлена, чем обрадована.

— Мерси. — Когда Лора говорит, а не поет, то голос у нее низкий, чуть хриплый. И слишком маленький, как ему кажется, для певицы рот.

— Ну что, Лорка! — восклицает из угла артистической курящая брюнетка. — Хорошего я олигарха тебе привела?

Над достатком в его кругу потешаться не принято, но тут другой круг.

— Устали? — сочувствует он Лоре. Вблизи на лице ее, несмотря на молодой возраст, уже заметны следы старения. Морщинки вокруг глаз, черточки. Истинный возраст устанавливают именно по таким маленьким признакам. Сколько ей? Лет двадцать восемь — тридцать.

Брюнетка разглядывает вазу и, не стесняясь его присутствием, кричит:

— Лорка, да это ж гермеска!

— Только салфетка. Фирма «Hermes» — это прежде всего текстиль, они не производят цветочных ваз, — поясняет он. — Кстати, правильно говорить не «Гермес», а именно так — «Эрмэ», название французское.

— Век живи — век учись, — притворно удивляется брюнетка. А как называется *его* фирма? И чем занимается? Она хотела бы знать, кому перепоручает заботу о Лоре.

Как у них быстро все! Фирма называется «Тринити».

— «Тринити»! — восклицает брюнетка. — Лорик, ты слышала? «Тринити»!

— Дело в том, что вначале нас было трое. А занимаемся мы...

— Наемными убийствами, да? — подсказывает брюнетка.

Лора: он должен извинить ее подругу, она успела выпить вина. Конечно, можно не реагировать.

Заглядывает дядька какой-то с поцелуями, поздравлениями.

— Ты живая? Нет? Можно приложиться к мощам? — Обнимает Лору, слишком, кажется, откровенно.

Еще глупый высокий парень: очень жизненно, у меня, говорит, сейчас, не поверишь, такая же байда, с девушкой расстаюсь. Уходят, все уходят. Они — всё, одни. Интересные в целом люди, он не встречал таких. Она позволит себя проводить? На машине, машина рядом. — Да, спасибо, *он очень добр*. Не совсем еще вышла из роли.

Села, глаза прикрыла, волосы — по краям подголовника из бежевой кожи. Машина не производит впечатления на Лору, она не делает по ее поводу ни единого замечания.

— Устали? — снова спрашивает он.

Да, естественно, волнение, сцена. Аспирантам почти никогда не дают сольный вечер.

— А музыканты всегда волнуются перед концертом?

— Конечно. Что за вопрос? — Лора удивлена.

— Зачем волноваться? Летчик, допустим, или хирург — они не волнуются *так* перед своей работой. Хотя речь там идет о жизни, а тут... — Кажется, он догадывается: — Тут — о славе, поэтому?

Лора смеется:

— Нет.

Нет, отвечает Лора, если б сегодня я неудачно спела, то никто бы не умер... Но оказалось бы, что я не певица, понятно? Так что там, конечно, о жизни, а тут — о смысле жизни, о содержании, теперь понятно? — Честно говоря, не очень... — Вот, приехали. — Она живет тут? Это что? — Общежитие консерватории. — Так Лора не замужем?

— Как теперь говорят: все сложно.

Он был бы рад продолжить разговор...

— О том, насколько все сложно?

— Нет, о содержании, о смысле. — Он сбит с толку, смущен.

— Как это было? — Он ведь ни слова ей не сказал про концерт.

Если честно, то ему трудно судить. Так как он впервые присутствует на концерте.

— Ничью участь, — произносит Лора, — чистосердечные признания не облегчали.

Откуда такая уверенность?

У Лоры очень белая кожа. Насколько он понимает, ей следует реже бывать на солнце. Так что в Землю Обетованную он ее не зовет, и в Грецию, и в Италию. Не съездить ли им в Норвегию?

— Это было бы мило, — отвечает она уклончиво.

Грузинский ресторанчик, прогулка у Новодевичьего. Он каждый раз дарит ей что-нибудь дорогое, гермески всякие, по выражению ее черноволосой подруги. Движение души, он ничего не ожидает в ответ, кто помешает ему быть добрым? Между ними происходят разговоры: что же именно сложно? — Она не станет всего рассказывать. Пианист, дирижер, композитор, автор философских книг, творческая личность — тот, с кем она пела Пуленка, — он не помнит? И хорошо, что нет. — Философских, надо же! — Да, философских, музыковедческих, эротических, в высшем смысле, он понимает? Пишет оперу из жизни царской семьи. Лора исполнит в ней партию Матильды Кшесинской. Готово два акта. — А своя семья у творческой личности есть? — Не одна. Вот уж где сложно, так сложно! Зачем спрашивать? Не ее это тайна, не только ее. — Надо будет выяснить, что за тип, — думает он без ненависти. Ревновать глупо. Глупо и оскорбительно. Вечное наше стремление — кем-нибудь обладать. Всякий человек — не средство, а цель, — утверждает Евгений Львович.

— Поговорим о другом, — просит Лора. — Чем занимается «Троица»? — вообще, как она догадывается, не святая.

Почему не святая? То есть, разумеется, всё на грани, но сильно по эту сторону. Инвестициями. Выискиванием слабых мест. Рынок, все решает рынок, рынку надо помочь, путем, в частности, выискивания слабых мест — он надеется, что это понятно, что она осознает первичность экономических отношений. Бедным быть стыдно: если ты беден, то либо ленив, либо талант твой не нужен, а он есть в каждом, талант. Напротив, если ты хорошо зарабатываешь, то сотням, тысячам вокруг тебя — лучше. Он многому учится у нее, но хотелось бы, чтобы кое на что она смотрела его глазами.

— О, — заявляет Лора, — никаких проблем.

Ему хочется рассказать: Роберт, когда посадили Роберта... — Ее лицо изображает сочувствие. — Не поделили кое-что с Обществом венских классиков, МГБ — ясно? Рафаэль научил. Не засмеялась, не поняла. Да она и не слушала. Вернее, не слышала слов, ее мало интересует содержание речи.

Лора что-то мурлычет тихонько. — Приятно, когда внутри непрерывно — музыка? — Ей трудно ответить. Как же иначе? — Она, оказывается, любит народные песни. Чего в них хорошего? На его взгляд, убожество.

— Как в детстве, во сне, когда падаешь, падаешь, летишь, и жутко, и обмираешь от страха, и никак не долетишь до дна, — объясняет Лора. Красиво поводит рукой. Кажется, она в последний раз тогда говорила с ним в полную силу, с отдачей.

В его жизнь уже входят рояль, Рафаэль. Сумеет ли он научиться играть?

— Я ведь не могу ответить, что нет, — отвечает Лора.

Просто, чересчур просто она оказалась в его постели, хотя между молодыми, свободными, физически привлекательными людьми и должно происходить все просто. — Ах, ему это важно? Тогда — конечно, пошли. — А ей? — И ей. Пожалуй, и ей. — Не надо вдаваться в мотивы, в некоторых отношениях женщины сложнее мужчин, это ему известно не только из книжек по психологии.

— Мы поедем с тобой в Норвегию?

— Может быть, да... — она проводит пальцем у него от подбородка — вниз, вниз, до солнечного сплетения, — а может быть, нет. — О чем-то другом задумалась.

Лора встает, заворачивается в простыню, идет к роялю, в гостиную, трогает клавиши, голос пробует. Снизу контора, нет никого, сверху небо: можно играть сколько хочешь. Играть и петь.

— Откуда рояль?

Он занимается музыкой. Она что же, забыла?

— *Ни слова, о друг мой, ни вздо-о-о-ха, мы будем с тобой молчаливы...*

— Чего так грустно, Лорочка, Лора?

Теперь ее пение предназначено одному ему. Лора остановилась. *Ни вздо-о-о-ха*, — поет она немножко по-другому, а потом еще как-то по-третьему. Нашла время позаниматься.

Не поехать ли им в Норвегию?

— Фьорды, гладкая поверхность воды... — Он гладит рояль. Возможно, белый был бы красивее. Белый, как Лорина кожа. Или красный — как ее волосы? Гладит рояль, гладит Лору. Он любит гладкое.

Хороший у него рояль, говорит Лора, очень. Творческая личность довольствуется инструментом пожиже. Что ответить? Только пожать плечами. Лора, по-видимому, считает несправедливым, что у творческой личности нет чего-то, что есть у него. Рояль — только вещь, не надо одушевлять рояль. Ей, к счастью, инструмент не нужен. Она сама — изумительный инструмент.

Значит, в Норвегию... А чего еще он хочет? — О, множество разных вещей! Поскорей научиться играть на рояле, дожать в ближайшее время Ветхий Завет. Каждый культурный человек должен иметь представление. Пусть теперь скажет она. Он ждет уклончиво-изящного ответа, но нет, все просто: ей надо выучиться петь. — Это ясно. — И еще... Еще ей хочется полноты... — Полноты? Непонятно. — Полноты отношений, всего... Пробыться к подлинной жизни. Объяснить понятней она не в силах. Из чего состоит его жизнь?

— Как у всех, — отвечает он, — из работы и отдыха. — Он много, очень много работает.

А ей, разумеется, он понимает, мужа надо иметь, детей, но он должен предупредить: дети его не особенно интересуют. Возможно, что-то изменится, но пока...

При разговоре о детях в его глазах возникает испуг, не оставшийся, как он видит, без Лориного внимания. — О, пусть он не беспокоится, сейчас, сию вот минуту, ничего такого, непоправимого, не случится. — Почему так брезгливо? Они ведь свободные люди.

Утром, почти одетая, Лора смотрит, как он застилает постель. Ровно-ровно, не оставляя складочек. Где он так научился, в армии? — Почему в армии? Он всегда любил...

Он стоит под душем: хорошо бы выйти, и — никого. Лора все-таки отнимает у него массу сил. Он знает, что будет делать: бросится на свежезастланную кровать, повспоминает ночь. Это желание, к его удивлению, сбывается: когда он выходит из душа, то Лоры нет. *Ни слова, о друг мой...* Ничего, ничего, вернется. Он превосходный любовник, объективно. Она вернется. Однако та ночь оказывается в истории их отношений пока единственной.

И вот теперь, в начале декабря, он стоит у окна, ворон больше нет, и перебирает свои неудачи.

Однажды попробовал выяснить, не мешает ли пению маленький рот. Ему всегда казалось, что певицам требуется большой рот, как пианистам — большие руки. И чего он, собственно, сказал плохого?

Еще спрашивал про кирпич.

— Вокалистки, по-твоему, все — идиотки? — Все, чего он добился.

Но сколько весит кирпич? Его помощник ответил.

— Вот и целуйся с помощником! — А сколько весит кирпич, не сказала.

Вот ведь досада, досадища. Все приставал к ней с расспросами про творческую личность, хороший ли тот любовник, и Лора, рассердившись, однажды ответила:

— Подходящий.

С конца ноября он стал пытаться отвыкнуть от Лоры, как люди бросают курить. Кроме нескольких срывов — в духе *пусть он позвонит мне*, только наоборот, — все протекало гладко, они уже две недели не разговаривали. Рана подернулась нежной тканью, но сегодня, когда Рафаэль ушел вниз и ему почти удалось договориться с банком — Виктор за несговорчивость прозвал этот банк Мастурбанком, — так вот, когда он собрался было уже заняться с Евгением Львовичем, позвонила Лора, и снова все осложнилось.

Ей нужно с ним повидаться. Интонации цвета хаки. Артистка. И вместо того чтоб сказать, что не хочет он больше *видаться*, ни видаться не хочет, ни разговаривать, он произносит как можно более равнодушно:

— В субботу, в одиннадцать, на нашем месте, у Новодевического?

Все равно получается жалко, заискивающе. Заехать за ней? — Что? Нет. — Она из общежития поедет?.. *Ни слова, о друг мой...* Отбой.

Спустя полчаса он вспоминает про учителя, неловко вышло. Потерянное время будет Евгению Львовичу возмещено. Зовет Кирпича наверх.

— Не обиделся?

— Чего ему обижаться? Евгений Львович вас уважает.

Откуда Кирпич это взял? Сам он теперь ни в ком не уверен.

— Знаете, как они называют вас?

— Как? Как они меня называют? — мол, давай, говори и иди.

— Человек эпохи Возрождения. И еще — Патрон.

Ничего, как будто бы, страшного. А все-таки — не добавляет. Они, значит, говорят о нем там, внизу.

Вспоминает лицо Рафаэля, когда тот увидел его рояль. «Не по жопе клизма» — было на этом лице написано, или не знает Рафаэль таких выражений? Знает, все знает, ученый. Энциклопедист.

— Еще что?

— Про музыку я не понимаю, — признается Кирпич, — а Евгений Львович рассказывает интересно.

О чем, о чем он рассказывает? Не умеет Кирпич врать. Ну же, строитель! — Про Николая Второго, про то, что он тоже... — Все ясно. Он тоже. Он тоже — ворон стрелял? Государь-император стрелял не только ворон — и кошек, и петухов. На Кирпича смотреть страшно. А об учителях он был лучшего мнения. Он им платит в конце концов.

Субботнее утро. Выпавший за ночь снежок уже полностью превратился в грязную жижу. В Москве еще поздняя осень. Как небрежно, неряшливо ездят водители! Почему надо заезжать за белую линию, не стоять спокойно у светофора?

Зачем она его позвала? Что-нибудь надо. Арендовать зал. Она невнимательна к деньгам. К деньгам не бывает ровного, спокойного отношения. Расчётливость, скупость или, как у нее, слишком подчеркиваемое презрение. Скоро узнаем, зачем звала.

Он приезжает к Новодевичьему монастырю. Одиннадцать. Случая не было, чтоб Лора явилась не то что раньше, а — вовремя. Спускается к пруду, оглядывается.

Монастырская стена испещрена надписями, он и раньше их видел, но не читал. Чего люди просят? Вряд ли чего-нибудь оригинального. Просят некую Софью, Софию, иногда даже запросто, ласково — Софьюшку.

Святая София, помоги мне выздороветь и дай сил пройти эти испытания. Надо бы разузнать, что за Софья. Он, разумеется, не верит в подобную ерунду. Вдруг думает: и это бы можно было попробовать. Нет, конечно же, нет.

Лора опаздывает. Еще несколько надписей в том же роде: дай хорошее зрение, здоровье, счастье по жизни. *Матушка-Софьюшка, помоги купить квартиру подешевле и уже с ремонтом. И чтобы квартира была по всем документам.*

Если бы он был верующим, то выбрал бы протестантизм. В протестантских странах жизнь и устроенней, и гуманней. И безо всяких, насколько он знает, святых.

Кажется, он мешает какой-то женщине. Быстро делает несколько снимков на телефон. Сейчас устроится на скамейке — их с Лорой скамейке — и будет читать.

Помоги найти мне сына Сережу, — пишет женщина. Бедная, жалко. Но тут же — смешное: *Пусть мои доходы позволят купить мне машину моей мечты. Ростик.* Лора оценит. Когда придет.

Он разглядывает сделанные фотографии. *Помоги Анне вылечить здоровье, а мне вернуть ее к себе навсегда.* Конечно, больная она тебе ни к чему. А ему самому — нужна ли больная Лора? Уже кажется, что нужна. Смотря чем, конечно, больная.

На полчаса, однако, опаздывает. Он ей сейчас позвонит. Ну же, подойди к телефону, ответь!

Святая София, дайте ума и покоя. Вот это свежо. Не то что бесконечные просьбы о детях. Словно дети рождаются от просьб.

Святая София, хочу стать востребованным высокооплачиваемым профессионалом в области дизайна и фотографии. Очень конкретно. А ниже: Хочу быть счастливой. Помоги мне забыть Влада. Вот бы так: раз — и Лора забыта, нет Лоры.

Он смотрит на монастырскую стену, к ней продолжают подходить женщины, перебирает страны, в которых был, думает: протестанты, католики, а на последнем месте по уровню жизни, всего — мы. Лора-то, кстати сказать, крещеная, хоть и Шер. Крестик на шее — чуть светлее волос.

Одиннадцать пятьдесят. К телефону — им в свое время подаренному — не подходит, сама не звонит. Ничего не случилось, нет сомнений, она в порядке. Не в порядке — он. Поднимается со скамейки — как же раньше он не заметил, когда садился? — увлекся этой галиматьей — к штанине прилип расплющенный грязно-розовый кусок жвачки. Какая мерзость! На нем — чужие слюни, чужая грязь, — не отскребешь! Гадость!

А теперь он залезет в автомобиль — он ждал ее больше часа — и поедет прочь, быстро-быстро.

Когда к нему возвращается способность к обдумыванию — километрах уже в двадцати от Москвы, — он понимает следующее.

Лоре нужна была помощь — арендовать зал, оркестр, творческой личности посодествовать. Он бы дал. Но — передумала. Возможно, где-то еще нашла. И тут вдруг — вспомнил сегодняшних Маш, Оль, Кать — кровь прилила к лицу: что если Лора беременна? Вероятность ничтожная. Зачем же звала? Может быть, захотела, чтоб он ей заделал ребеночка? С творческой личности — что возьмешь? — а тут — и сама, и ребенок обеспечены будут навеки.

Смотрит на ситуацию несколько со стороны: вот до чего довели человека! А у Новодевичьего прямо готов был рыдать. Его уже отпускает.

Мальчики

Зачем он уехал из города, куда направляется? Не разумно ли было бы для загородных поездок обзавестись водителем? Может быть, и разумно — жизнь за пределами Москвы страшна и непредсказуема, — но автомобилем он предпочитает управлять сам. Он отличный водитель. Кроме того, любая услуга — свидетель той жизни, которую она обслуживает, — свидетель, метящий в соучастники, — слишком недолго живем мы в мире современных экономических отношений и учимся медленно.

Он думает о Рафаэле, о Евгении Львовиче. Не зло думает — больше с недоумением. Ничего обидного, кажется, ими не было сказано: ну, про государя-императора, про ворон... А так — *Renaissance man*, он произносит вслух, по-английски, — лестно должно быть, скорей. Но общий тон, чувство их превосходства, откуда? Лично они, эти двое, какие создали ценности, чью жизнь улучшили? Он вдруг понимает, что устал от учителей — от рафаэлевского чванства, от алкогольной грусти Евгения Львовича, от их всезнайства, от вечной, неистребимой их правоты.

А Лора о сегодняшнем свидании просто забыла. И ночует она — скажем так — в гостях, иначе позволила бы заехать, забрать себя. Что-то ей было нужно — известно, что — деньги, а потом обошлась, выкрутилась сама. Позвала его встретиться — и забыла. Ровно так же забудут его после смерти. Рафаэль, вечный живчик, отзовется о нем высокомерно-мило: симпатичный был человек, ищущий, произнесет речь — об искусстве, эпохе, больше всего — о себе. Лора похвалит его непосредственность, вспомнит про вазу с цветами и с тряпочкой, здесь поминки, конечно, смеяться не следует, споет с выражением: *Ни слова, о друг мой...* и сделает изящно, как она умеет, рукой. И Рафаэль, раскачиваясь взад-вперед, Лоре саккомпанирует. Виктор будет стискивать зубы, скорбеть, доставит на отпевание архимандрита или — как он у них называется? — архиепископа, купит место на Новодевичьем, роскошные похоронные принадлежности. Евгений Львович посетует на безвкусицу — тайно, Рафаэль — в открытую. Жалко, не будет Роберта.

Странные мысли приходят в голову за рулем. Лучше не помирать, и с чего бы? — он, пожалуй, еще поживет.

Он едет на дачу, принадлежащую Роберту. С тех пор, как того арестовали, а жена и дети Роберта подались в Англию, а потом к ним присоединился и сам Роберт, — пришлось потрудиться, договариваясь с венскими классиками, несговорчивыми и жадными, — дача перешла в его ведение, Роберту жалко было ее продавать. Роберт и теперь надеется на возвращение, а пока попросил, чтобы все оставалось по-старому, включая Александру Григорьевну, бабу Сашу, — человека, который следит, как выражается Роберт, чтобы дом был жив, — появляется раз в неделю, по воскресеньям.

Баба Саша эта, опять-таки по словам Роберта, — женщина, близкая к святости, — содержит племянницу — дочь умершей сестры, сильно пьющую, и множество двоюродных внуков. Возможно, не содержала бы — племянница меньше пила бы, работала. Так что неизвестно еще, полезен ли бабы-Сашин подвиг. А ну как внуки — кажется, уже пятеро — вырастут паразитами? Еще она птичек кормит, синичек, специально на какой-то там рынок ездит, где

зерно дешевле, такое Роберта всегда трогало. В любом случае, присутствие ее — воля Роберта. Он бы нашел кого-нибудь посвежей.

За городом уже зима, подмосковную зиму он предпочитает прочим временам года — за снег, за поверхности, прячущие под собой все безобразия, нечистоту. Слева — поле, занесенное снегом, а справа и чуть впереди снег частично вымело ветром, обнажилась грязная высохшая растительность. Прибалты такие необработанные поля называют «руси». Агрегат какой-то ржавый стоит. Глупости много и свинства. Если честно — страна дураков. Евгений Львович говорит: — И святых. — Не знаю, не знаю, — думает он, — со святостью мы что-то редко соприкасаемся. Если, конечно, не считать бабу Сашу, которая, кстати сказать, матерится и курит, как паровоз. В любом случае, людей, как он, как Роберт, как, при всех его недостатках, Виктор, — людей работающих — сильно не хватает.

К даче можно проехать двумя путями — либо коротким, через поселок, где живут местные, в частности баба Саша, и куда лучше не углубляться, — дорога короче, но хуже, — либо длинным путем, вокруг «русей»: лишних несколько километров, зато никаких признаков человеческого присутствия. Ему интересно испытать машину на скользкой разбитой дороге, и он выбирает короткий путь. Машина справляется безукоризненно.

На въезде в поселок — заправка. Возле нее — мальчики, совсем дети. Он выходит из автомобиля, разминает ноги, руки, спину, его уныние почти прошло: солнце, снег, скоро он сядет на снегоход... Да и радость освобождения, выздоровления — он усвоил уже это глупое слово — от «интеллей», включив в их число и Лору, все-таки ощущается. Чуть-чуть отъехал, а уже другой мир, другие переживания.

Слив бензина, придется десять минут подождать. Световой день короткий, надо поторопиться, но десять минут ничего не изменят в его судьбе.

Да, чувство освобождения — приятная вещь. Как-то в компании Роберт рассказывал о самом счастливом дне своей жизни. Был тогда он молодым кандидатом наук с идеями и мечтал поговорить о них с одним выдающимся математиком. И вот однажды в Пярну, на пляже, видит Роберт того самого математика, в одних трусах. Тот согласен поговорить: «Только надо вам сперва подучиться. Вас подтянет один мой студент, он тут. А за это студент у вас будет обедать». Роберт на все согласен, студент толковый, они едят, разговаривают, день за днем. Но вот как-то раз доедает студент второе, сует себе зубочистку в рот, и эдак, не вынимая ее: о чем, мол, сегодня поговорим? «И я ему, знаете, что ответил? — Роберт обводит собравшихся большими своими глазами. — Пошел вон! И студент ушел. Это был самый счастливый день в моей жизни». Не видел больше Роберт ни студента, ни великого

математика, а скоро стало не до того — биржа, акции, очень на месте казался Роберт на первых порах со своей математикой, хотя потом выяснилось, что самое надежное — пойти и взять.

— Дядь, вам стекла помыть? — кричит мальчик, и, не дожидаясь ответа, размазывает по лобовому стеклу грязь. Другой уже занялся фарами.

Молодцы, думает он, работают. Ему приятно думать о них хорошо. Заливает бензин, — не трогайте, тут он сам — дает ребятам мелкие деньги, обходит машину и видит, что сзади стоит еще один мальчик. Немножко старше других, тоже маленький.

— А ты чего не работаешь?

Мальчик, не отрываясь, восхищенно смотрит на заднее стекло. Он следит за его взглядом: масляно-радужные узоры, цветные пятна, оставленные моющей химией, вперемешку с отражением неба, солнца и облаков. Правда, красиво, — дифракция, рефракция, интерференция, ах ты, он все забыл.

Мальчик рыжеватый, не такой, как Лора, но он вдруг думает: вот если бы они с Лорой...

— Сколько тебе?

— Одиннадцать.

Мальчика зовут Костей.

— Хочешь прокатимся, Константин?

Еще бы тот не хотел!

Между прочим, единственные надписи, которые его тронули у Новодевичьего, были оставлены детьми. *Хочу хорошо учиться и чтобы меня хвалили.* И еще: *Сделай так, чтоб у моей мамы никогда не было несчастья и неудач.* Как зовут Костину маму? Зря он спросил. Нету у мальчика, видимо, матери.

— Костя, на тебя вороны не нападали? — у обочины собралось множество птиц. Эх, ружьишко бы!

— Нет, — отвечает Костя. — Они у соседей зерно поклевали и цыплят обижают.

Что и требовалось доказать.

Соседям пришлось завести себе пугало. Костя изображает пугало. Приехали, жаль.

Вдоль улицы люди. Хмурые. В Москве, впрочем, тоже. В Москве все друг другу мешают, а тут-то что? Экономика. Был он и в итальянских деревнях, и в Голландии — разве сравнишь? Трудно быть патриотом, Евгений Львович, практически невозможно.

Почему-то он заходит за мальчиком в дом. Дом бедный, одноэтажный, не дом — полдома. В нос ударяет страшная смесь тухлятины, перегара, мочи. В полутьме на кровати сидит укрытый рваниной мужчина — отец? Голые

ступни чудовищной толщины, искореженные ногти, лицо небритое, одутловатое. Он думает: лет через десять таким будет Евгений Львович, если не перестанет пить.

Мужчина, хрипло:

— Кто, Костя, врач?

Нет, не врач. Если нужен врач... Он сейчас позвонит. Скорее на воздух! Мужчину заберут, отвезут-привезут, сделают все, что в силах. Довольно много времени уходит на переговоры. Почему он вообще этим занят? Потому что у него есть деньги. Не только деньги — ответственность. Если ты обеспечен, то сотням, тысячам вокруг тебя становится лучше жить.

Как справится мальчик один, когда увезут *этого*? А как он с *этим* справляется? Чем питается Костя, кто стирает, кто гладит ему? Возвращается в дом: будет врач. А они покатаются на снегоходе. Когда-то Косте еще доведется... Мужчина делает неопределенный жест.

Пустой дом Роберта, помнящий лучшие времена. Но ничего, благодаря бабе Саше негрязно. Завтра, кстати, ее день.

Они ходят по дому: видишь, Костя, такой вот дом. Дом его друга. Вот фотография, черно-белая, с бородой и в очках, здесь Роберт похож на Фрейда, но в свитере. Досмотрим потом, идем.

— Снег вовсе не мягкий, — объясняет он мальчику. — Попробуй, потрогай.

Костя с умным лицом садится на корточки, трогает снег, словно впервые.

— Об снег можно расшибиться не хуже, чем об асфальт. Имей в виду: опрокидывание на снегоходе особенное. Не то что на мотоцикле. Мотоцикл падает внутрь поворота...

Костя, он видит, хочет понять.

— Смотри, — чертит ботинком линии на снегу. — Снегоход, теряя устойчивость, падает вслед за тобой. Ты падаешь, снегоход кувыркается — и на тебя. Особенно на горе. Ладно, пошли.

Вспоминает свои одиннадцать лет. Странно, что мальчики доживают до взрослого состояния. Большинство.

— Костя, запомни главное: при опасности — прыгай.

Приятно, что Костя слушает. Иначе, чем Лора: не тембр, не интонации слушает, а слова.

— В прошлом году двое дачников провалились под лед, — говорит Костя и делает огромные глаза. — Утопли.

Но, видно, нисколечко Косте не страшно. Он ложится на снег, раскидывает руки в стороны, поводит ими вверх-вниз. Встает, показывает отпечаток: похоже на ангела?

— Чрезвычайно. Едем?

Он сажает Костю вперед, придерживает руль, но и Костя руль держит крепко! Ужас, какая нищенская у мальчика шапочка. Под ней полоска волос и тощая-тощая шейка. Как бы он хотел сейчас видеть его лицо! Выставляет зеркало так, чтобы видеть.

— Правь сам. Вот тормоз, вот газ.

Костя сосредоточен. И вроде бы счастлив. Из-за какой мелочи могут быть счастливы дети!

До речки доехали — не речка, так, ручеек, — как ухитрились тут дачники потонуть? — повернули налево, вдоль поля. Возвратились при свете фары. Изумительная вышла прогулка.

Костины вещи — сушить. Какую-то одежку нашли — все огромное, взрослое. Рукава, как у смирительной рубашки болтаются.

— Давай засучу, помогу. Костя, ты любишь пиццу?

Глупый вопрос, Костя все любит. Все и всех. Найдем телефон, закажем. По экрану ползет полоска — подожди, надо дать компьютеру загрузиться. Пока что звонит Кирпичу: одежду для мальчика — полный комплект, от носков до шапки. Купит, доставит, и всё — свободен.

— Сегодня не выйдет, — Кирпич пыхтит. — Простите, никак.

Завтра утром, Кирпич постарается. Да уж, пусть.

Мальчик лежит на перилах и медленно-медленно съезжает со второго этажа на первый.

— Ты что делаешь, Костя? — дом-то чужой.

— Я загружаюсь, — отвечает мальчик. Загружается, как компьютер.

Потрясающе, думает он, талантливо. Просто феноменально. Если дать Косте образование...

Доставка еды. Толстая белая баба на маленьком автомобильчике. Пицца, мясо в горшочках, суп.

— Кушайте, мальчики.

Порадовало это «мальчики».

Костя ест аккуратно, старается.

— Смотри, кирпич весит полкилограмма плюс полкирпича...

С этим классом задач мальчик, по-видимому, не знаком.

— Кирпичи — они разные...

— Нет, здесь один и тот же кирпич. Две половинки: одна — полкилограмма, другая, следовательно, тоже. А вместе получается — килограмм. Ты понял?

Вроде бы, да. Тут же Костя произносит что-то милое и настолько некстати, что ясно — не понял. Запущенность. Надо наверстывать.

Задачу про кирпич он перенял у Роберта, тот задавал ее всем, кто устраивался к ним работать. Отвечавших неправильно, а их было много и с годами становилось все больше, Роберт называл инопланетянами. Их не брали.

Что дальше делать? — размышляет он, ставя тарелки в посудомоечную машину. Через пять минут и вообще. И каков, так сказать, статус их отношений с Костей? Просто так отвезти мальчика в пустой уже дом невозможно. Кто они с ним друг другу?

Ближайшие планы определяются сами собой. Когда он возвращается в гостиную, Костя спит. Он переносит мальчика на кровать, укрывает его, даже позволяет себе чувствительный жест — гладит Костю по голове, у ребят удивительно крепкий сон. Как хорош Костя! Благодородство и простота. Юный джентльмен.

За окнами полная уже темень. Сейчас он снова позвонит Лоре, а лучше — напишет ей: «Я нашел нам чудного рыжего мальчика, юного джентльмена». Или подумать еще, подождать?

Он звонит Виктору. Тот извиняется: связь плохая. Они с Олегом Хрисанфовичем охотятся на кабанов. Вечером поговорим. — Уже вроде вечер. С кем Виктор охотится? Он недослышал. — С губернатором, губернатором. — Ладно, с губернатором — это важно.

Сам он в губернаторских охотах с недавних пор не участвует. Может быть, Виктор прав, — его неучастие вредно для дела, может быть. Но, во-первых, опротивело их вытье: перед началом охоты — молебен хором. И на него смотрят: чего лоб не крестишь? И потом — он всегда был против глумления над убиваемыми животными. В последний раз они долго гонялись с Виктором за лисой, та устала и уже не могла бежать. Виктор схватил ее за хвост смеха ради, и лиса укусила Виктора в руку, пришлось уколы делать от бешенства. Он помнит, как посмотрела на них лиса. Не очень-то ему было жалко Виктора. Подумал: пора им, наверное, расставаться.

Мальчик все спит. Он перезванивает Виктору совсем ночью.

— Ну, — спрашивает, — как поживает любимец богов и губерра? — И рассказывает о том, что надо сделать. Быстро. Лишить алкаша одного родительских прав. Первым этапом. Старается говорить, как о бытовом пустяке. Перед Виктором нельзя заискивать, тот очень чувствует его слабости.

— А давай грохнем твоего алкаша, — вдруг предлагает Виктор. — Дешевле, и польза обществу.

Пьяный он, Виктор, что ли?

— Ладно, шучу. Алкаш — первым этапом, а что вторым?

А вторым этапом, вздыхает, он хочет усыновить ребенка. Он и одна его приятельница. Про нее пока еще не окончательно решено, будем считать, что насчет приятельницы — предварительный разговор.

А насчет него, спрашивает Виктор, разговор окончательный?

— Да, — он опять вздыхает. — Да, окончательный.

— Имя ребенка? Возраст?

Он говорит.

— Отличная идея! — восклицает Виктор. — Я делаю всю черновую работу. — Не так сказал — черную. — А теперь Костик, Костян...

Неплохо бы все обсудить, полагает Виктор. Все аспекты. Конечно, каждый решает сам, в том, что касается личной жизни, но необходимо учитывать интересы партнеров, в данном случае — Виктора. Они ведь — большая семья, не так ли? Как ему кажется? Костик уже не маленький, может считаться участником дела. Потенциально. Так он должен рассматриваться. Если что. Не будем о плохом, но помнит ли он, — если нет, то Виктор готов напомнить, — сколько проблем было с семейством Роберта?

Похоже, Виктор не пьяный.

— Ты, конечно, патрон, все дела...

Надо подумать. Не оформить ли — как это называется? — опекунство? — Виктор изучит законодательство. Опекунство — уже теплей. Но тоже не отыграешь, не возьмешь назад. А что если — такое предложение, — дать Костику бабок? — Он с ума сошел, этот Виктор? Мальчик маленький, одиннадцать лет, как он ими распорядится?

— Легко, — отвечает Виктор. — Я в одиннадцать отлично знал, что с бабками делать. У меня уже сумма приличная скопилась по тем деньгам. Я себе, если хочешь знать, в тринадцать лет купил женщину.

Утро. Дом уже на ногах. Костя оделся в свою одежду, снова лежит на перилах. М-да. Шутка, повторенная два раза... Перила крепкие, выдержат.

В комнате, где спал мальчик, орудует баба Саша. Выволокла матрас на снег, груда белья на полу.

— Александра Григорьевна, здравствуйте. Что случилось?

— Малый проссал все, у меня вон Галка, старшая, — бормочет баба Саша, — мужа себе нашла, в первую ночь обоссался, как же ты, говорю, жить будешь с таким зассанцем?..

Тише, тише, услышит. Это ж непроизвольно, ребенок не виноват. И он просит ее не курить хотя бы в жилых помещениях.

Бардак. Так хорошо вчера было... Пока юный джентльмен не надул в постель. По волосам его треплет.

— Ладно, бывает. Голову давно мыл?

Теперь ему хочется что-нибудь сделать для одного себя. Всё, его нет, он отправляется в душ.

Если бы он курил, скажем, трубку, то, возможно, и не было бы потребности в ежедневном стоянии под душем по полчаса. А так — давно надо выключить воду, вытереться, одеться и с Костей поговорить — намерения определились, — но он моется все и моется. И мысли разные в голове, которые надо гнать. Решено уже — опекунство, вполне себе компромисс.

— Малый уехал на драндулете... — узнает он от бабы Саши.

Без спросу. Взял снегоход и отбыл. Вот так сюрприз.

— С легким паром!

Спасибо, спасибо, Александра Григорьевна... Уехал на снегоходе, что за идиотизм!

Пора бы уже Кирпичу объявиться. Он подождет еще час-полтора и пойдет искать мальчика.

Много свежего снега. Это не вчерашний их след? Вроде сегодняшней. На снегоходе до речки они ехали минут десять, а пешком идти — далеко. След обрывается. Вспоминает про утонувших дачников. Идет вдоль речки налево — нет, тут Костя не мог переправиться. Звонки: на дачу — не вернулся ли мальчик, Кирпичу — едет Кирпич, скоро будет, как скверно все! Обувь неподходящая. Снег противный, хоть и не очень глубокий, и не холодно — скорее, жарко, он взмок.

— Там мосток есть, — говорит баба Саша, в смысле — мост.

Видимо, у речки надо было повернуть направо. Нашел мостик. Металлические канаты, на которых тот висит, подернуты ржавчиной, деревянный настил местами гнилой. Костя, наверное, тут и переправлялся. Знать бы — машину взял — и в поселок, ждал бы мальчика прямо там. Ладно, что теперь говорить?

Часа четыре ходил, пока не добрал до поселка. Вот и кончается день, уже сумерки.

Костина улица, снегоход, дом. Мальчик лежит на кровати, лицом к стене. Записка, большими буквами: МЕНЯ УВЕЗЛИ В БОЛЬНИЦУ. МЫ УВИДИМСЯ ЕЩЕ, СЫН. Он встречается взглядом с мальчиком. Не думал он, чтобы тот умел так смотреть. Не надо, не надо, Костя. Вспомнил лису — губернаторскую. Хотя при чем тут Костя? В данном случае пострадавшая сторона — он.

Вонючего дядьку эвакуировали, но запашок остался. Следовало оповещать мальчика о перемещениях папаши. Ошибка, его ошибка.

Ему мучительно хочется вдруг домой, в Москву — в царство если не разума, то по крайней мере здравого смысла. А что помощник его? Доехал, чай пьет с Александрой Григорьевной.

— Почему так поздно, можно поинтересоваться?

— Семейные обстоятельства. Пока машину нашел... — Через телефон чувствуется, как Кирпич потеет, это произнося.

Надо присмотреть себе помощника поэффективней, без обстоятельств.

Так, пусть Кирпич садится в его машину и потихоньку едет в поселок, он называет адрес. — Кирпич не может водить. — Как же права категории «В»? Солгал, когда на работу брали? — Права есть, давно не водил.

Пусть Кирпич придумает, как вызволить его из поселка, он устал придумывать. Всё, с понедельника он ищет себе нового человека.

Наконец, они соединяются: он, машина, Кирпич, пакеты с вещами. Кладут вещи в темной передней. Одежда, обувь, немножко денег. А снегоход? Оставлять снегоход — почти так же рискованно, как дать, по совету Виктора, бабок. Снегоход привязан к крыльцу какой-то собачьей цепью. Ладно: совесть есть — сам вернет. Бросить все — и домой.

Они едут назад, в Москву, возвращаются в позднюю осень.

— Снимайте шапку, пальто, Анатолий Михайлович, в машине тепло, вот салфетки, возьмите, вытрите.

Что там Кирпич бормочет? У него тоже сын. В каком смысле — *тоже*? Пусть Кирпич думает что угодно, плевать.

— Двенадцать лет мальчику, не разговаривает. — Черт, что такое? — К профессорам ходили, к целителям, к экстрасенсам.

Слушать это — выше человеческих сил. Думает: твою мать! Я и тебе, что ли, должен сочувствовать?! — терпит однако. Совсем поздно уже он отвозит Кирпича в его Бутово: бросьте, на чем вы доедете? Уже ночь.

Пробует читать перед сном: *Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова*. Зачем это все? Зачем?

Черный понедельник

Он стоит у окна и стреляет ворон. Стреляет метко: вороны разлетаются в пух. Для каждой дичи требуются свое оружие и боеприпасы, его сегодняшний выбор соответствует целям стрельбы. Мало того, что в Москве негде шагу ступить от машин и людей, так еще и повсюду кишат эти страшно живучие твари.

Сейчас явится ничего не подозревающий Рафаэль. Надо откликнуться на сообщение от Виктора: им снова предстоит разговаривать с банком. Сегодня должно получиться, считает Виктор. И в агентство звонить, искать Кирпичу замену.

С учителями можно было расстаться по телефону, но он предпочитает прощаться с людьми по-хорошему. Два конверта — для Рафаэля и для историка — гонорары за десять невзятых уроков. Каждому. Очень щедро.

Он редко подглядывает за тем, что творится в конторе, но сегодня им движет естественный человеческий интерес. Включает камеру. Любопытно, с каким лицом энциклопедист примет деньги. Явился. Вот Кирпич объявляет решение начальника, протягивает конверт. Надо же, не берет! Не берет-то он не берет, но смотрит на конверт с интересом — знал бы, сколько там, взял бы. Ясно, гордый. Понты дороже денег, говорит в этих случаях Виктор. Теперь станет хвастаться. Всем подряд. Черт.

Остается надеяться, что Евгений Львович свои отступные возьмет. Подождем до трех. Рафаэль отвалил, можно выключить камеру. Стоп, минуточку. Чем это занят Кирпич? Перекладывает деньги из двух конвертов в один. Добрым быть хочет, за чужой счет. Поздно перевоспитывать.

Пока он следит за тем, что творится внизу, на соседнюю крышу садятся еще вороны. Сейчас он ими займется. Новая коробка с патронами. Раз-два-три, ворон больше нет. Он переводит взгляд на консерваторию.

Рыжие волосы, знакомое пальто. Лора? Вскидывает винтовку, смотрит в прицел. Да, Лора. Лора с брюнеткой. Ворона-брюнетка, брюнетка-черт. Вот кому он с удовольствием разнес бы голову. Опасные мысли, когда в руках у тебя оружие. Ничего, ничего, он себя контролирует.

Бинокль был бы уместней и безопаснее, но бинокль находится в спальне, — Лора уйдет. Телефон зато под рукой. Ну же! Лора достает из сумочки свой телефон, она отлично с ним управляет. Смотрит — грустно, как ему кажется, — головой качает. Все, назад убрала. Поворачивается к брюнетке. Та смеется. Он снова переводит прицел с брюнетки на Лору. Просто нет сил. Лора ушла, пронесло. И его, и Лору.

Положи наконец винтовку. Нет, он не в силах прервать наблюдение за жизнью — праздничной, праздной, паразитической. Все они — консерваторская братия, мальчики Костики, их папаши, народец, пачкающий стены монастырей, — паразитируют на людях, делом занятых.

А праздник внизу продолжается. На месте брюнетки — девочка толще нее, моложе, и ниже, и тоже черненькая. Брюнетка-штрих. И парень — лохматый, как Рафаэль. Виолончельный футляр свой поставил на тротуар. Руками

размахивает, веселое что-то, видно, рассказывает, девочка сгибается от хохота пополам, потом распрямляется, толкает виолончелиста в грудь. Чему они все так радуются? Неужто смешно? Тусуются детки. Всем подавай веселья. Веселья и левых денег. Хоть на виолончели играй, хоть на рояле, хоть пой.

Пора перестать подглядывать за этой бессмысленной жизнью и позвонить туда, где ждут его, — в банк, но происходит ужасная вещь. Из рта у брюнетки лезет пузырь, бледно-розовый. Парень-виолончелист пробует попать по нему рукой, девушка уворачивается. А пузырь — растет и растет. Что здесь смешного? — гадость, жвачка, как та, что прилипла к штанам его позавчера. Скоро пузырь займет уже, кажется, весь прицел. Ну же, лопни! И, не желая никому причинить вреда, он нажимает на спусковой крючок.

Здесь далеко от места событий, и ему совершенно не слышно, что происходит — там. Вместо того, чтоб отпрянуть — мало ли, что у стрелка на уме, — недоумки сбились все в одну кучу, сгрудились над жертвой, заслонили ее собой, так что не видно, жива она или нет, размахивают руками, выбегают на проезжую часть, указывают в направлении его переулка. Бараны, стадо.

Постепенно реальность доходит до его сознания. Винтовка не стояла на предохранителе. И в патроннике был патрон. Какая клавиша отменяет последнее действие? Нет такой, отмены не предусмотрено. Скоро за ним придут.

Дорога перегорожена милиционерами. Пропустите же «скорую»! Кажется, вся консерватория повылезала на улицу. Что проку в толпе? Расступитесь, разойдитесь, разгоните машины. Как топорно все делается!

Тем не менее скоро за ним, вероятно, придут. Он и не думает прятаться.

Его будут трогать чужие руки, чужие люди станут говорить ему «ты». Он вынужден будет им отвечать. Нет, так не будет. Случилось нечто постыдное, необратимое, неустранимое. Не повезло. Надо теперь устранить себя.

Сердце? Где сердце? Не в груди, где-то выше, почти что в горле. Снял ботинок, носок. Так убил себя какой-то известный писатель — большим пальцем ноги. У его винтовки недлинный ствол, он и рукой дотянется. Или петельку накинет на спусковой крючок.

Пора или ждать? Никто не идет. Влезает ногой в ботинок. Окно настезь, он начинает дрожать.

Бумагу, ручку. КОМПЕНСАЦИЮ ПОСТРАДАВШЕЙ. Он не знает ни имени, ни фамилии. И даже — убил или не убил, не знает. ОГРОМНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ.

Дело — Виктору. Можно не беспокоиться, Виктор все сам возьмет. Что еще?
Пишет: НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ.

Никто не идет. Надоело, надо решиться, все надоело. Пора? Сейчас: раз — и нет его. Телефон звонит. Кто? Не смотреть. Пора.

Он никому не хотел сделать ничего плохого.

Интересно, что до последней секунды сохраняется способность соображать.

Кирпич

Теперь тут Виктор, наверху и внизу. С ним проще.

— Все, брат, я теперь твой патрон. — На ты и без этих, без заморочек. —
Что имя мое означает, знаешь?

Откуда мне знать? Оказывается — победитель.

— Ладно, проверим твои умственные способности. Кирпич весит один килограмм и полкирпича. Сколько весит кирпич?

— Нормальный полнотелый? — спрашиваю.

— Нормальнее не бывает.

— Четыре кг.

Виктор смеется, он вообще теперь — много смеется:

— Почему четыре?

За кого меня держат? Полнотелый кирпич, столько весит. Я же строитель.

январь 2011 г.